

С.Н. Касаткин, кандидат юридических наук,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Самарский юридический институт ФСИН России, Самара (Россия)

Ключевые слова: действие; бездействие; намерение; ответственность; Г.Л.А. Харт; правовые понятия; аналитическая философия права; методология права.

Аннотация: В статье содержится анализ понятия действия как условия уголовной ответственности, как он представлен в очерке британского философа и правоведа Г. Харта «Акты воли и ответственность» 1960 года. Разбирается предложенная Хартом концептуализация действия в доктрине и судебной практике прецедентной (прежде всего британской) правовой системы. Эксплицируются методологические начала и приемы исследования Харта, толкуемого в такой перспективе как опыт применения идей аналитической лингвистической философии к проблемам уголовного права.

Настоящая статья является продолжением исследования ее автора, посвященных концептуализации действия в его связи с ответственностью в работах британского философа и правоведа, профессора Оксфордского университета, Герберта Харта (1907–1992) [1; 2]. В отличие от сравнительно известного в отечественной литературе очерка 1949 года «Приписывание ответственности и прав» [3], данная статья обращается к более позднему (и недавно переведенному на русский язык) сочинению автора «Акты воли и ответственность», вышедшему в свет в 1960 году и переизданному в сборнике его эссе «Наказание и ответственность. Очерки по философии права» (1968 г.) [4; 5]. Следует заметить, что если работа 1949 года, как и многие исследования Харта 1950-х гг., явным образом сосредоточена на общефилософской повестке анализа языка и возможности применения аппарата аналитической лингвистической философии к проблематике права, то рассматриваемый очерк (как и собрание 1968 года) касается прежде всего специально-юридической проблематики. Более конкретно, он нацелен на экспликацию используемого в доктрине и судебной практике прецедентного (прежде всего британского) права понятия действия, на прояснение предельных юридических требований к действию, обусловливающих возможность уголовной ответственности. Между тем, даже здесь за рассуждениями Харта можно увидеть методологические начала и техники философско-лингвистического анализа, что позволяет рассматривать данный очерк в как пример традиционного для автора философско-правового исследования.

Исходя из этого в настоящей статье будет представлен опыт прочтения работы «Акты воли и ответственность» в свете идей аналитической лингвистической философии. Здесь, в частности, будет предложена (1) систематизация рассуждений Харта по предмету исследования 1960 года, а также (2) экспликация элементов используемой Хартом лингво-аналитической методологии.

Действие и ответственность в очерке Харта 1960 года. Итак, в очерке 1960 года Харт обращается к анализу понятия действия в современной ему (британской) доктрине уголовной ответственности и связанным с этим импликациям для судебной практики. Как отмечает философ, в соответствии с принятой доктриной, помимо элементов *mens rea* (вины или виновной воли), а именно знания обстоятельств и предвидения последствий, существует еще один «сознательный» или психологический элемент, необходимый для ответственности – «поведение» обвиняемого (включая уголовно наказуемое бездействие) *должно быть намеренным и не быть ненамеренным*. Причем данный элемент более фундаментален, чем *mens rea*, поскольку полагается обязательным даже при «строгой» или «абсолютной» ответственности, где наличия *mens rea* не требуется. Между тем, согласно ав-

тору, подобная доктрина, с одной стороны, не дает четкого определения того, что для поведения означает «быть намеренным и не быть ненамеренным», с другой – расходится с практикой судопроизводства [4, с. 90].

Харт обращается к экспликации принятой доктрины действия и его «намеренности» в духе распространённых приемов философско-лингвистического анализа – через анализ случаев, когда нельзя говорить о действии, т. е. о случаях речевой квалификации дефектов поведения. При этом за основу анализа, как и ранее, берутся не абстрактные теоретические схемы, а реальное словоупотребление, прежде всего материалы судебной практики.

Правовед начинает с дифференциации двух типов дефектов человеческого поведения и вычленения его предельных изъянов, не позволяющих трактовать поведение как действие: «Производство человеческого действия – это сложное дело, предполагающее сосуществование и соупорядочение большого числа различных элементов. Здесь многое может пойти не так... [что отражается в изречениях “случайности неизбежны” и “все мы ошибаемся”]. Успешное совершение [даже самых] простых действий... требует нашей способности определенным образом управлять движениями собственного тела, распознавать определенные предметы и обладать определенным знанием или предвидением последствий обращения с ними или их порчи» [4, с. 90–91]. Последнее как раз и составляет первый выделяемый автором тип дефектности поведения, а также основной интерес уголовного права: такие действия, как убийство, ранение и пр., могут совершаться «либо тем, кто обладает полным знанием относительно их осуществления, либо, наоборот, тем, кто не предвидит значимых следствий своих движений или у кого отсутствует соответствующее знание об обстоятельствах, в которых он находится, о характере затрагиваемых его движениями вещей или лиц» [4, с. 91].

Наряду с этим Харт выделяет и другой, более значимый для него, тип дефекта поведения, при котором «движения человеческого тела выглядят скорее как движения неодушевленной вещи, нежели как действия человека», и который, по сути, не позволяет определять происходящее как «действие» (как в случаях бессознательного состояния, припадка эпилепсии, рефлекторных движениях от укусов пчел и пр.): «Обычный человек... мог бы сказать, что в этих случаях движения лица были “ненамеренными” или “не управлялись им”, и если бы мы называли эти движения «действиями», то лишь бы в минимально возможном из всех смыслов этого широко используемого слова, т. е. в том смысле, в котором оно охватывает все, что можно сказать, соединяя глагол с одушевленным подлежащим. Не считая этого, по сути, всеохватывающего смысла, для простого человека, как и для юриста, было бы важным отграничивать скатывание с лестницы от схождения по лестнице вниз как что-то,

что «на самом деле» вовсе не является действием» [4, с. 91–92]. Отсюда, заключает автор, согласно принятой доктрине, «там, где поведению присущ столь фундаментальный изъян, “действие” отсутствует, притом, что движения тела имеют место; ибо “действие” есть нечто большее, чем такое движение»: в отличие от обычных параметров *mens rea* здесь отсутствует минимальная связь между сознанием и телом, необходимая для любой формы уголовной ответственности [4, с. 92].

Данная доктрина иллюстрируется Хартон на примере дела «Хилл против Бакстера» (1957 г.) о нарушении Закона 1930 года о дорожном движении и его ключевых понятиях/выражениях: «несоблюдении указаний дорожного знака» и «опасном вождении». По обстоятельствам дела подсудимый на высокой скорости выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с другой машиной и перевернулся. Однако на суде он заявил, что не подлежит ответственности, поскольку потерял сознание и перестал что-либо помнить с определенного момента до выезда на перекресток и вплоть до времени после столкновения. Суд (как апелляционная инстанция) оставил обвинительный приговор в силе, посчитав заявления подсудимого недоказанными. При этом судьи сделали ряд важных замечаний о существующем праве. Во-первых, что соответствующие правонарушения подпадают под абсолютный запрет или сопряжены со строгой ответственностью, т. е. к ним неприменим вопрос о *mens rea* (на данные обвинения нельзя ответить: «Я не собирался вести автомобиль опасным образом» или «Я не заметил знака “Стоп”»). Во-вторых, возможны некоторые формы бессознательных состояний и типы отсутствия мышечного контроля, которые, при наличии надлежащих доказательств, исключают даже строгую ответственность (пусть даже, возможно, лишь в случае, если обвиняемый не мог предвидеть их наступления) [4, с. 92–95].

Отталкиваясь от этого, Харт стремится прояснить неопределенность языка юридической доктрины, когда утверждается: всякая уголовная ответственность требует, чтобы соответствующее поведение было «намеренным», выступало «результатом выражения воли», «следствие намеренного осуществления воли» и т. д. Для этого автор использует одну из традиционных техник философско-лингвистического анализа, при которой, во-первых, составляется перечень релевантных случаев употребления обсуждаемого термина или выражения, во-вторых, выводятся объединяющие их черты, лежащие в их основе взаимосвязи и принципы употребления [6].

Так, на базе рассуждений судей по различным делам Харт формирует следующий список (гипотетических) примеров «аномального» поведения, где обсуждаемый элемент («намеренность» и пр.) отсутствует, и упорядочивает их по значимому критерию – нахождению/ненахождению субъекта в сознательном состоянии:

1. *Случаи сознательного состояния*: а) физическое принуждение одного человека другим (А держит оружие, и В, вопреки воле А, хватает его руку и наносит рану С); б) ослабление мышечного контроля вследствие болезни (А охвачен пляской св. Вита – его неконтролируемые движения влекут за собой причинение вреда); в) рефлекторное мышечное сокращение (во время ведения автомобиля на А нападает пчелиный рой или А получает удар камнем, и автомобиль на время оказывается вне его управления).

2. *Случаи бессознательного состояния*: а) естественный сон в обычное время (женщина во время хождения во сне берет топор и убивает свою дочь); б) ступор, вызванный опьянением (женщина в пьяном ступоре во время сна душист и убивает своего ребенка); в) сон вследствие усталости (А, ведя автомобиль домой с ночной смены, засыпает и врезается в солдатский отряд); г) потеря сознания, связанная с коллапсом (А неожиданно теряет сознание и падает, будучи обессиленным от приступа или эпилепсии); д) автоматизм или аномальное со-

стояние сознания, не связанное с коллапсом (А входит в жилое помещение ночью в состоянии лунатизма или «автоматизма») [4, с. 95–96].

Далее Харт переходит к выявлению общей черты данных случаев, которая позволяет (в отличие от обычных действий) классифицировать их в качестве примеров отсутствия «акта воли» или «намеренного поведения». В этом контексте он обращается к решению данной задачи в рамках традиционной («атомистической») теории действия, укорененной в философской психологии XVIII в. и наиболее четко изложенной британским правоведом Джоном Остином [7, Lect. XVIII]. Согласно такой теории, «человеческое действие – это всего лишь мышечное сокращение... Термины повседневной речи (...такие глаголы действия, как “стрелять”, “убивать”, “ударять”) неточны и вводят в заблуждение, поскольку они неверно представляют в качестве единичных действий то, что фактически является сочетанием мышечных сокращений и их следствий. Поэтому чтобы мыслить и говорить научным и ясным образом, нам нужно ограничить употребление слова “действие”, используя его только по отношению к простому мышечному сокращению. Это первый элемент данной теории. Второй ее элемент состоит в том, что слово “действие” касается не просто мышечного сокращения, но сокращения, имеющего особую психологическую причину. Оно вызвано предшествующим желанием – которое Остин называл “волением” (*volition*) или “актом воли” – совершить мышечное сокращение. Именно здесь пролегает граница между простыми ненамеренными движениями, такими как скатывание с лестницы, и намеренными действиями, такими как сходжение по лестнице вниз. В одном случае мышечные сокращения желаемы и вызваны желанием их совершения, а в другом – нет. В этом и заключается минимальная обязательная связь между сознанием и телом, необходимая для того, чтобы имели место “действие” и ответственность» [4, с. 97–98]. Со временем, замечает Харт, терминология данного учения становится менее точной (и прямо не утверждается, что психологический элемент, который делает поведение «намеренным», – это лишь желание к совершению мышечных сокращений), но его смысл, по сути, остается неизменным.

Подчеркивая простоту данного учения и его проверенность временем, Харт, тем не менее, указывает на две причины, почему оно не может внятно или верно характеризовать искомую минимально необходимую связь между сознанием и действием, требуемую для ответственности, и тем самым фиксировать критерий, лежащий в основе соответствующего словоупотребления.

Первая причина, согласно правоведу, состоит в том, что данное учение не позволяет удовлетворительно объяснять случаи ненамеренного бездействия: «... [Оно] определяет то, что является ненамеренным, в качестве мышечного сокращения или движения, которое происходит без предшествующего воления или желания его совершения. В лучшем случае... [это] имеет смысл только в отношении неконтролируемых ненамеренных происшествий [например, когда в эпилептическом припадке опрокидывают вазу]... Но там, где в силу неожиданно наступившего паралича или комы человеку просто не удастся совершить то, что он должен был совершить (например, остановиться по сигналу светофора), мы не можем сформулировать существо имеющегося здесь дефекта, утверждая, что мышечное... сокращение произошло без соответствующего желания – ибо *ex hypothesi* в случаях бездействия вообще не требуется, чтобы происходило какое-либо мышечное... сокращение. Следовательно, рассматриваемая теория лишь позволяет нам выделить случаи ненамеренности деяния, но не дает... критерия для определения ситуаций, когда ненамеренным является бездействие» [4, с. 100].

Более того, продолжает Харт, это затруднение сохраняется и при корректировке учения, когда «случаи без-

действия полагаются намеренными, если *отсутствие* мышечных сокращений... для осуществления... действия вызвано желанием *не* совершать таковых, и ненамеренными – если отсутствие мышечных сокращений не вызвано подобным образом. Такая корректировка имела бы... неблагоприятные последствия для юридической ответственности, поскольку в этом случае наказанию подлежали бы лишь преднамеренные случаи бездействия. Соответственно, мы могли бы наказывать тех, кто не остановился на сигнал светофора, только если они сознательно «шпарили на красный свет» [что, как это ясно из дела «Хилл против Бакстера», противоречит действующему праву]... Да и в более общем плане с точки зрения права в целом нам важно разграничивать неумышленное бездействие обычного здорового человека и бездействие человека, которого внезапно охватил приступ или паралич. Представленная же теория неспособна помочь нам в проведении такой границы, поскольку ни в одном из этих случаев не присутствует... желание совершить мышечные движения либо (как в исправленной версии)... желание воздержаться от их совершения» [4, с. 100–101].

Вторая и главная для Харта – причина неудовлетворительности данной теории заключается в том, что она не дает адекватного объяснения самих ненамеренных движений, поскольку построена на устаревшем образце психологии XVIII в., не имеющем реального применения к человеческому поведению. Автор подчеркивает, что выделение этой теорией трех элементов действия (желания совершить мышечные сокращения, самих порождаемых сокращений и их следствий) существенно расходится с опытом обычного человека и с тем, как ему представляются его действия (что отчасти объясняет редкость высказываний об «актах воли» и «мышечных сокращениях» в судах и повседневной речи). Подобное расхождение для Харта существенно, ибо, как отмечалось, для него обыденный язык содержит социально/исторически обусловленные связи и различия, отражая социальный мир и опыт (по сути, сложившуюся систему восприятия, культуры) и тем самым выступает основой и своеобразным критерием проверки теоретических построений. С этих позиций различие между обычным действием и обсуждаемыми аномалиями не объясняется через указание традиционной теории на желание мышечных сокращений, ибо такое желание как элемент обычного действия (в его повседневном восприятии и выражении) есть вымысел [4, с. 101].

Харт иллюстрирует свой тезис через ряд примеров, обращая особое внимание на характерное для них словоупотребление. С одной стороны, он отмечает, что имеются особые, весьма редкие, случаи, когда уместно заявить: то, что мы делаем, состоит именно в сокращении мышц, и у нас есть к этому соответствующее желание. Сюда автор относит ситуации, когда нам физически трудно осуществить некое действие, допустим, повернуть дверную ручку обычным образом – тогда мы сжимаем ручку особой хваткой, и действительно можем осознавать то, сокращение каких мышц нам требуется, и обладать желанием их сокращения. Сюда же относятся ситуации занятий в спортзале, когда, например, инструктор говорит нам: «Поднимите свою правую руку и произведите сокращение мышц руки, находящейся в более высоком положении». По Харту, при успешном выполнении таких (весьма непростых) действий утверждение «Я произвел сокращение своих мышц» было бы разумным ответом на вопрос «Что вы сделали?»: «Я обращаю на это внимание не как на проблему языка, но в связи с тем, что язык в данном случае четко фиксирует важное фактическое различие, которому не придается значения в критикуемой нами теории» [4, с. 101–102].

Вместе с тем, как замечает философ, подобное восприятие и терминология не характерны для большинства обычных действий: «Приведенные примеры суть

особые случаи, и, как правило, они очевидны для внешнего наблюдателя, проявляясь во всем видимом положении нашего тела и в сосредоточении нашего взгляда на тех его частях, которые мы намерены привести в движение. От обычных случаев будет отличаться и внутренний опыт лица при совершении таких действий, с характерным для него особым сосредоточением внимания на производстве мышечного движения. Когда мы захлопываем дверь, наносим кому-то удар или стреляем из ружья в птицу, мы действуем без... предварительной мысли о связанных с этим мышечных движениях и без... желания сокращения соответствующих мышц... Иногда мы можем заранее поразмышлять о совершении подобных действий и тогда представить себя за их совершением либо вообразить их окончательный результат: мы можем мысленно увидеть открытую дверь или кровотокащий нос нашей жертвы и можем желать этого. Однако последнее не образует желания или осознания наших мышечных движений. Простая, но важная истина заключается в том, что, когда мы рассуждаем о действиях, мы мыслим не на языке мышечных сокращений, но с помощью повседневной терминологии действия. Конечно, мышечные движения *являются частью* всех таких действий, но это вовсе не означает, что мы осознаем их до того, как действуем или что у нас есть желание их совершения» [4, с. 102].

Развивая сказанное, Харт дает еще одну иллюстрацию своего тезиса: «Если нам дадут простое указание (например, написать букву “Q”, ударить ногой по футбольному мячу или произнести слово «справедливость»), то, будучи в нормальном состоянии, мы сможем выполнить его довольно легко. Но если кто-то скажет: «Не выполняйте эти действия на самом деле, а сообщите мне, сокращение каких мышц вам требуется для их совершения», это совсем другая – и очень трудная – задача для всякого, кто не является профессиональным физиологом. Мы, конечно, можем *узнать*, какие мышцы используются при осуществлении этих действий, но важно обратить внимание на то, как мы будем получать эту информацию. Для того чтобы раз узнать соответствующие факты, нам нужно сначала представить себя за выполнением данного указания (пишущими букву “Q”, ударяющими ногой по мячу или шепотом произносящими слово «справедливость»), а затем попытаться увидеть или почувствовать, какие мышцы участвуют в подобном процессе. Это довольно сложный эксперимент, который ясно показывает, что *первичное* осознание нами собственных действий – это не сознание физиолога: оно не включает осведомленности о требуемых мышечных движениях и *a fortiori* не включает желания их совершения. При осуществлении обычного действия происходит следующее: решая совершить нечто, мы рассуждаем об этом в повседневной терминологии действия (такой как нанесение удара или написание буквы), и – при условии, что мы научились совершать последние и находимся в нормальном состоянии – наши мышечные движения, как правило, беспрепятственно следуют за нашим решением. Для того чтобы пустить в ход свои мышцы, нам не нужно обязательно желать их сокращения, что предполагается в остиновской терминологии “действий”, вызванных “волеями»» [4, с. 103].

Харт допускает смягчение традиционной теории, при котором тезис о присутствии в обычном действии желания сокращения мышц интерпретируется так, что, «когда мы действуем, мы желаем совершить некоторое действие... *включающее в себя* мышечные сокращения» [4, с. 103]. По мнению автора, хотя такой взгляд широко признан, он отходит не только от (сформулированного Остином) ясного значения доктрины, но и от идеала строгости или научности языка рассуждений (отличного от обыденной речи), когда мы ограничиваем употребление слова «действие» мышечными сокращениями. Ибо согласно смягченной версии желание сокращения мышц не

является чем-то наблюдаемым или проверяемым само по себе – оно просто «в итоге выводится» из того факта, что мы желаем совершить действие в его обыденном, «четко не определенном» смысле. Таким образом, резюмирует правовед, «здесь предполагается повседневное описание обычного человеком своих действий и желаний их совершения не на языке мышечных сокращений, но в таких выражениях, как выполнение удара по мячу, нанесение удара человеку или написание буквы» [4, с. 104].

Исходя из этого, Харт констатирует общую неудовлетворительность традиционной, «атомистической», доктрины действия (включая ее мягкую версию) и необходимость новой интерпретации учения о действии, способной дать более адекватную экспликацию обсуждаемого дефекта поведения – иначе говоря, более адекватное разъяснение выражений о его «ненамеренности» или отсутствия в нем «акта воли» и выявить истинный (и «интуитивно осязаемый») критерий объединения различных случаев характерного словоупотребления. В числе требований «более адекватного» объяснения автор называет: 1) его нефиктивность, соответствие фактам повседневного опыта (и тем самым структурам обыденного языка); 2) применимость в судебной практике для надлежащей дифференциации и квалификации правовых ситуаций (здесь – для определения области случаев, где требование минимального сознательного элемента, необходимого для ответственности, не удовлетворено) [4, с. 104–105]. Соответственно, предлагаемая концепция действия должна охватывать имеющиеся примеры сознательных и бессознательных состояний, при этом отличаясь от традиционного объяснения в двух базовых аспектах: «Во-первых, она была бы отграничена от всякого утверждения о том, что обыденный способ изъяснения, касающийся действий, является подчиненным или менее точным по сравнению с их определением в качестве мышечных сокращений. Во-вторых, случаи бездействия подлежали бы рассмотрению отдельно от действий» [4, с. 105].

С этих позиций Харт выдвигает собственное объяснение обсуждаемого дефекта поведения и критерия, объединяющего различные (рассмотренные ранее) случаи применения понятия «ненамеренное действие». Причем предлагаемое объяснение осуществляется им не через унифицированную логическую формулу, но – в духе философско-лингвистического анализа – через вскрытие сложной и разнородной структуры оснований реального словоупотребления [8, § I; 9, § III с.]. Так, *ненамеренные движения* (рефлекторные реакции, приступы, «пляска св. Вита» и пр.) определяются автором в качестве «движений тела, которые производятся, не будучи при этом уместными, т.е. обязательными для какого бы то ни было действия (в его обыденном понимании), которое совершает субъект с его собственной точки зрения» [4, с. 105]. Подобные движения являются «неконтролируемыми» или не «управляются волей» в том (соответствующем обыденному) смысле, что они не подчиняются имеющемуся у лица сознательному плану действия: их производство не является элементом чего-то, что совершает субъект с его собственной точки зрения. Это, по Харту, как раз и есть та черта, которая представлена теорией Остина в искаженной форме. Тот же критерий применяется автором и в отношении «ненамеренности» бессознательных состояний (эпилепсия, автоматизм и т. д.), ибо в таких случаях субъект вообще не может считать, что совершает какое бы то ни было действие [4, с. 105].

Далее, случаи *бездействия* рассматриваются Харту обособленно, но в свете того же общего принципа: «Когда человек не совершает... требуемого правом деяния, невыполнение такового является ненамеренным, если человек находится без сознания и тем самым вообще не способен совершить какое бы то ни было сознательное действие либо если, даже будучи в сознании, он не способен совершать конкретные мышечные движения, необходимые для

производства действий, требуемых правом» [4, с. 106]. По Харту, в случаях бездействия именно эта неспособность неверно трактуется теорией Остина в качестве отсутствия желания мышечных сокращений: «очевидно, что *способности и желания* суть разные вещи, и последние здесь выглядят неуместно» [4, с. 106].

Таким образом, резюмирует Харт, «не используя вымышленного желания совершать мышечные движения, эти два взаимосвязанных критерия (один – для ненамеренных движений, другой – для ненамеренного бездействия) характеризуют различные аспекты одного базового дефекта – отсутствия у человека сознательного контроля над своими мышечными движениями... Необходимый здесь контроль может отсутствовать по различным причинам: 1) из-за того, что средство управления «вышло из строя» (как в случаях движений или бездействия лица в бессознательном состоянии); 2) в силу того, что соответствующие мышцы, даже будучи здоровыми, двигаются не так, как это требуется для любого сознательного действия (ненамеренные движения), либо вследствие какой-нибудь болезни или дефекта они не могут двигаться так и тогда, как и когда это требуется для сознательного действия (ненамеренное бездействие лица, находящегося в сознании)» [4, с. 106].

От прояснения и преобразования общей доктрины об аномалиях «ненамеренного» поведения, Харт переходит к анализу ее использования в судебной практике. Он возвращается к названному ранее делу «Хилл против Бакстера», где обсуждается отказ от квалификации поведения лица как опасного вождения и как несоблюдения указаний дорожного знака (и тем самым освобождение от «строгой» уголовной ответственности) в связи с его бессознательным состоянием. Харт обращает внимание на редкость применения судами общего учения даже в немногочисленных случаях строгой уголовной ответственности: судьи не только не используют язык трудов по юриспруденции (понятия «мышечных сокращений», «волений» и пр.), но и не изъясняются в духе общего учения о необходимости намеренных движений или бездействия для наступления ответственности, обсуждая вместо этого значения слов в применяемых законодательных актах (например, термина «вождение» (*driving*)). В том же деле «Хилл против Бакстера» указывается на случаи (эпилептический припадок, кома, рефлексы из-за укусов плел и т. п.), когда «в действительности вообще нельзя говорить о том, что подсудимый вел автомобиль» и, таким образом, что он вел автомобиль опасным образом. При этом, однако, утверждается, что опасное вождение имеет место, например, когда водитель уснул за рулем, не выполнив ранее обязанности поддерживать себя в бодрствующем состоянии [4, с. 106–109].

Оценивая аргументацию суда, Харт подчеркивает ограниченность и непоследовательность используемого здесь понятийно-лингвистического инструментария. Так, он демонстрирует различные следствия апелляций к общей доктрине и к значению терминов из дефиниций правонарушений для разграничения действий и ненамеренных происшествий. По мысли автора, их использование в квалификации вело бы к одинаковым выводам, если бы «употребление глагола в активном залоге (как в выражении «вести автомобиль») всегда предполагало – как часть своего значения – существование минимальной формы сознательного мышечного контроля, на котором настаивает общее учение» [4, с. 109]. Однако, замечает Харт, указывая на ряд наблюдаемых фактов как презумптивных оснований речевой квалификации, с точки зрения обыденного английского языка ситуация обстоит иначе: «Одной лишь фразы «хождение во сне» достаточно... чтобы напомнить нам: если со стороны движения выглядят соупорядоченными так же, как они представляются при обычном действии, тот факт, что субъект по какой-либо причине находится без сознания, не препятствует описанию... данного случая с помощью глагола в активной форме, хотя мы

и ограничиваем его употребление наречием “бессознательно” или обстоятельственными оборотами “во сне”, “в состоянии автоматизма” и т. п. Соответственно, применительно к выражению “вождение автомобиля” с точки зрения английского языка будет естественным различать, с одной стороны, случаи, когда движения тела являются неконтролируемыми или спазматическими либо когда “водитель” просто валится на свое место или вследствие коллапса падает на руль, с другой – случаи, при которых, несмотря на бессознательное состояние, он, как кажется, управляет транспортным средством, переключает передачу, поворачивает руль, жмет на тормоза и т. д. В отношении последних вполне уместным было бы сказать, что субъект вел транспортное средство, переключал передачу, поворачивал руль, жал на тормоза и т. п. “во сне” или “в состоянии автоматизма”. Такие случаи, несомненно, возможны» [4, с. 109–110].

По Харту, в деле «Хилл против Бакстера» названное разграничение между ситуациями, когда субъект «вел машину во сне» и когда он «крепко спал на месте водителя, вообще не ведя машину», не проводится, в связи с чем можно предположить, что вопреки заявлениям судьи так или иначе находятся под влиянием (пусть и невыраженного) общего учения при толковании терминов закона. В любом случае, продолжает автор, очевидно, что решение здесь вопроса об ответственности через простую отсылку к обыденному языку (т. е. через описание с его помощью поведения обвиняемого как «вождение автомобиля») имело бы неблагоприятные последствия. Ибо, например, вероятна ситуация, когда водитель теряет сознание, и у него отсутствовали основания ожидать этого (подобного с ним ранее не случалось), при этом его поведение принимает внешне соупорядоченную форму, которую можно описать как «ведение автомобиля в бессознательном состоянии». Тогда, отталкиваясь от применимости данной фразы, такой водитель нес бы ответственность, тогда как человек, который вследствие коллапса упал без сознания на водительском месте, ответственности не подлежал бы вовсе [4, с. 110]. Такое разграничение, полагает автор, вряд ли может быть оправдано какой-либо моралью или социальной политикой, и, видимо, в связи с этим соображением (а не в силу общего учения) в деле «Хилл против Бакстера» и др. обосновывается сдвиг момента совершения правонарушения на стадию, предшествующую бессознательному состоянию, когда водитель вел машину, зная о своей предрасположенности к потере сознания [4, с. 110].

В свою очередь, продолжает Харт, такой подход также не лишен недостатков, поскольку предполагает определенное «растягивание английского языка», т. е., по сути, отступление от заложенных в языке понятий и границ рассуждения. Ибо «странно, когда о человеке, который ведет автомобиль с безупречностью, достаточной для управления транспортным средством... говорят, что он ведет автомобиль общественно опасным образом, даже если он знает, что вот-вот уснет или что с ним скоро случится припадок. Несомненно, в указанном случае он вел бы автомобиль *в состоянии*, опасном для общества, и это действительно было бы так даже при отсутствии у него знаний о собственном состоянии. Но теперь слишком поздно возражать против того, что, в конце концов, является очень умеренным и весьма полезным растягиванием слов» [4, с. 111].

Более того, добавляет автор, подход, связанный с определением момента совершения правонарушения задним числом, невозможен в других случаях строгой ответственности, где суды полагают правильным осуждение человека, который спал во время совершения запрещенного законом деяния, при условии что он знал о соответствующей своей предрасположенности. Об этом свидетельствует другое обвинение по делу «Хилл против Бакстера», «несоблюдение указаний дорожного знака», когда подсудимого признали виновным,

хотя он спал в тот момент, когда достиг светофора. Подобное решение, по мнению философа, «трудно согласовать с каким-либо общим учением, в соответствии с которым лицо подлежит осуждению, только если в момент совершения правонарушения оно находилось в сознании. Ибо даже если ситуация была такова, что, еще не доехав до светофора, водитель знал или полагал, что вскоре уснет или каким-то иным образом потеряет сознание, мы не могли бы сказать – сколько бы ни растягивали английский язык, – что *именно в это время* он нарушил указания дорожного знака, однако мы могли бы сказать: *в это время* он вел автомобиль опасным образом (или в опасном состоянии). Нельзя пересечь мост, не добравшись до него. Так же и здесь: нельзя шпарить на красный свет, не доехав до светофора» [4, с. 111].

Тогда на какой теории, по Харту, следует основываться, признавая находящегося без сознания водителя ответственным за подобные правонарушения? И как здесь провести (значимое для права) разграничение между ситуациями проезда на красный свет в бессознательном состоянии, когда до наступления этого момента субъект вел машину, в одном случае понимая, что вскоре потеряет сознание, а в другом – не имея к ожиданию этого никаких оснований? С точки зрения правоведа, аргумент к значению терминов здесь не подходит: «Если мы настаиваем на том, что здесь все сводится к толкованию слов «несоблюдение указаний дорожного знака», тогда... в обеих ситуациях водитель должен быть признан виновным, ибо вряд ли правдоподобным будет утверждать, что с точки зрения английского языка слово «несоблюдение» (*failing to conform*) требует сознательного субъекта. Так или иначе, даже если бы такое слово понималось указанным образом, нам по-прежнему не удалось бы разграничить эти два случая, поскольку согласно данной трактовке, наоборот, ни в одной из описанных ситуаций водитель, находящийся без сознания, не был бы виновным» [4, с. 112]. То же, согласно автору, верно в отношении общего учения, требующего сознательного состояния субъекта бездействия даже в случае строгой ответственности, ибо «тогда в обеих ситуациях водитель, находящийся в бессознательном состоянии, подлежал бы оправданию» [4, с. 112].

Отвергая существующую доктринальную и судебную аргументацию, Харт взамен предлагает более ясную формулу применяемой в суде правовой позиции, приходя к необходимости пересмотра понятия и границ самого института строгой ответственности (его объяснения не через абстрактные теоретические дефиниции, а через конкретные случаи его практического употребления [8; 9]). По мысли философа, для разграничения описанных ситуаций проезда на красный свет «нам следует отбросить идею, согласно которой слова «несоблюдение указаний дорожного знака» требуют – *либо* с точки зрения значения слов, *либо* с точки зрения общего учения – наличия субъекта, находящегося в сознании и способного управлять своими движениями в момент совершения данного правонарушения. Вместо этого нам следует истолковывать утверждение, согласно которому ответственность за подобное правонарушение является «строгой» или такое правонарушение находится под «абсолютным запретом», следующим образом: «в случае утраты лицом сознательного контроля над своими движениями необходимым и достаточным для наступления ответственности будет то, что лицо, проявляя разумную осторожность, имело возможности предотвратить потерю сознательного контроля над своими движениями, повлекшую за собой нарушение права». Если в связи с этим будет утверждаться, что предложенный здесь подход размывает границу между «строгой» ответственно-стью и небрежностью и придает последней «субъективную» форму, я признаю такое обвинение. Но я буду настаивать: мы не узнаем, насколько строгой в действительности является «строгая» ответственность или на-

сколько абсолютным на деле является «абсолютный» запрет, пока не увидим то, как суды применяют эти идеи на практике» [4, с. 112].

Очерк 1960 года как пример философско-лингвистического анализа

Исследование 1960 года, безусловно, отличается от прежних изысканий Герберта Харта, связанных с действием и ответственностью, включая очерк 1949 года, где автор дает общефилософскую концептуализацию понятия действия, фиксируя его аскриптивный (неописательный, нормативный) характер и связь с социальным приписыванием (вменением ответственности) и, тем самым, с конструированием институциональной реальности [1–3]. Данное исследование – пример детального анализа и прояснения понятия действия, используемого в юридической доктрине и судебной практике прецедентной (британской) правовой системы. Оно во многих отношениях напоминает традиционные юрико-аналитические изыскания, нацеленные на устранение неясностей и противоречий правового материала, повышение его практической эффективности. Так, в очерке 1960 года Харт:

1) дает более четкую формализацию используемой доктрины намеренности действия как минимальной связи сознания и тела, необходимой для любой формы уголовной ответственности;

2) эксплицирует критерии отграничения случаев (ненамеренного движения и (ненамеренного) бездействия);

3) демонстрирует ограниченность используемого в судах концептуального инструментария;

4) предлагает на этой основе пересмотр традиционной доктрины «строгой» или «абсолютной» (уголовной) ответственности.

Вместе с тем, как представляется, очерк 1960 года одновременно (и имплицитно) выступает образцом философского исследования, используя целый ряд идей и инструментов аналитической лингвистической философии.

Во-первых, Харт исходит из значимости обращения к языку (дискурсу) как к значимому источнику информации о предмете исследования и, по сути, как к основе надлежащего объяснения правовых и т. п. понятий и своеобразному критерию проверки теоретических утверждений. Он неоднократно прибегает к примерам речевых ситуаций и характерных структур словоупотребления, маркирующих важных смысловые связи и оппозиции обсуждаемых понятий (для установления потенциальных дефектов действия, границ между действием и движением, характера совершаемых поведенческих актов и пр. [4, с. 90–91]). Все это указывает на приверженность автора проекту «лингвистической феноменологии» [6, с. 208 ff] или «дескриптивной социологии» [10, р. v], трактуемому язык как манифестацию мира и ключ к его постижению: «...Предположение о том, что исследование значения слов проливает свет лишь на [сами эти] слова, ложно. Многие важные, но не очевидные на первый взгляд, различия между типами социальной ситуации или [типами] отношений можно лучше всего показать через изучение стандартных случаев употребления соответствующих выражений и того, как они зависят от социального контекста, который зачастую остается незамеченным. В этой области исследования особенно верно то, что, как говорил профессор Дж.Л. Остин, мы можем использовать «обостренное осознание слов, чтобы обострить восприятие нами соответствующих явлений»» [10, р. v., 9, § III b; 6, с. 207].

Во-вторых, исходя из этого, Харт предпринимает тщательный разбор обыденного и юридического словоупотребления, проясняет значение соответствующих терминов и выражений, их взаимосвязей, оснований и пределов применения. В качестве объектов анализа в очерке 1960 года выступают: а) язык юридической доктрины (общего теоретического учения о действии и ответственности), б) язык судебной практики, в) обыденный язык.

При этом, как отмечалось, язык и значимость доктрины оцениваются автором на предмет их адекватности судебному и обыденному дискурсу (что, например, очевидно из провозглашаемых автором стандартов надлежащего объяснения дефектов поведения, из критериев разграничения движения и действия, из понимания института строгой ответственности и т.д. [4, р. 104–105, 101–103, 106–112]). Это среди прочего реализует такие лингво-аналитические постулаты как истолкование языка в качестве речевой практики (и значения как употребления), а также приоритет изучения реального дискурса перед абстрактными теоретическими рассуждениями («кабинетной философией») [6, с. 207].

В-третьих, Харт подчеркивает значимость обыденного дискурса (как манифестации повседневного социального опыта) для анализа действия и ответственности. В духе лингвистической аналитической философии автор отвергает его истолкование как менее точного и подчиненного по отношению к теоретическим схемам, демонстрирует его важность для устранения из доктрины «фиктивных» сущностей и для надлежащего прояснения элементов, границ и дефектов (понятия) действия. При этом, судя по всему, обыденный язык (как и у Остина [6, с. 210–211]) не трактуется философом в качестве предельного или универсального критерия проверки теоретических утверждений. Скорее Харт исходит из (также философско-лингвистической) идеи множества и относительной обособленности различных дискурсов, включая юридический язык, имеющий, с позиций автора, собственные основания / принципы словоупотребления и выражающий «внутреннюю» точку зрения правовой системы [1, гл. 1 § 1]. Указанные моменты проявились не только в заявляемых Хартом стандартах надлежащей теории, призванной сочетать учет повседневного опыта и применимость в судебной практике, но и в обсуждении им аргументации судебных решений, апеллирующей к значению используемой терминологии. Здесь правовед обращается к случаям «растягивания» обыденного языка. При этом он, с одной стороны, допускает последнее в силу различных юридически релевантных соображений (например, интересов правовой регламентации, связанных с этим доводов морали, социальной политики и пр. [4, р. 110, 111 etc.]), с другой – по сути, подчеркивает имеющийся в обыденном языке предел, который либо затрудняет выход за пределы сложившихся лингвистических значений, создавая «аргументативное напряжение» (как при толковании термина «опасное вождение») либо вовсе исключает такую девиацию, лишая ее силы (как при трактовке выражения «нарушение требований дорожного знака») [4, р. 110–111]. В этом плане можно утверждать, что обыденный дискурс выступает у Харта той основой, общим «гравитационным» смысловым фоном, в рамках которого осуществляется формирование и спецификацию юридического языка. (Сравните, например, фиксируемые автором конвенциональные презумптивные основания приписывания действия в обыденном и юридическом языке [3, с. 346; 4, р. 109]).

Наконец, в-четвертых, в очерке 1960 года Харт использует конкретные техники работы с лингво-понятийным материалом, практикуемые в аналитической лингвистической философии. К таковым, в частности, можно отнести:

– установление/прояснение значения терминов и выражений через анализ конкретных случаев употребления [4, р. 95, 112];

– обращение к примерам речевой девиации для определения содержания языковой нормы [4, р. 95];

– отказ от поиска логических универсалий и экспликацию разнородных, пересекающихся критериев употребления [4, р. 104–106];

– создание «семьи» понятия через систематизацию случаев его употребления и выявление лежащих в их основе принципов [4, р. 95–106];

– дифференциацию социальных и смысловых ситуаций через разграничение характерных речевых средств [4, р. 101–104]; и т. п.

В свете сказанного очерк 1960 года представляется одновременно образцом доктринально-юридического и философско-лингвистического анализа. Используемые здесь стандарты объяснения правовых понятий сочетают содержательную «нефиктивность» (связанную с соответствием отраженному в обыденном языке повседневному опыту) и практическую применимость/эффективность (способность обеспечить надлежащий понятийно-аргументативный арсенал судопроизводства). При этом юридический и философский аспекты исследования комплементарны друг другу: очерк 1960 года есть использование методологии философско-лингвистического анализа для решения правоведческих проблем.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Методология анализа юридического языка в работах Герберта Харта: от доктрины аскриптивизма и отменяемости правовых понятий к проекту аналитической юриспруденции», № 16-03-00804.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касаткин С.Н. Как определять социальные понятия? Концепция аскриптивизма и отменяемости юридического языка Герберта Харта. Самара: Прайм, 2014. 472 с.
2. Касаткин С.Н. Приписывание действия – приписывание ответственности (по концепции аскриптивизма

- Г.Л.А. Харта) // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2016. № 3. С. 45–48.
3. Харт Г.Л.А. Приписывание ответственности и прав // Как определять социальные понятия? Концепция аскриптивизма и отменяемости юридического языка Герберта Харта. Самара: Прайм, 2014. С. 343–367.
4. Hart H.L.A. *Acts of Will and Responsibility* [1960] // *Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law*. Oxford, 1968. P. 90–112.
5. Харт Г.Л.А. Акты воли и ответственность // *Философия и язык права*. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2017. С. 241–270.
6. Остин Дж. Принесение извинений // *Три способа пролить чернила: философские работы*. СПб.: Алетейя, 2006. С. 200–231.
7. Austin J. *Lectures on Jurisprudence, or the Philosophy of Positive Law*. 2 vols. 5th ed. London, 1885. 245 p.
8. Харт Г.Л.А. Определение и теория в юриспруденции // Как определять социальные понятия? Концепция аскриптивизма и отменяемости юридического языка Герберта Харта. Самара: Прайм, 2014. С. 369–402.
9. Харт Г.Л.А. Аналитическая юриспруденция в середине XX века: ответ профессору Боденхаймеру // *Философия и язык права*. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2017. С. 135–167.
10. Hart H.L.A. *The Concept of Law*. 2nd ed. Oxford, 1994. XII, 325 p.

ACTION AS AN ELEMENT OF THE DOCTRINE OF STRICT CRIMINAL RESPONSIBILITY: (PHILOSOPHICAL-LINGUISTIC READING OF H. HART'S *ACTS OF WILL AND RESPONSIBILITY* (1960))

© 2017

S.N. Kasatkin, candidate of law, professor at the department of theory and history of state and law
Samara Law Institute of FPS of Russia, Samara (Russia)

Keywords: action; omission; intention; responsibility; H.L.A. Hart; legal concepts; analytical philosophy of law; methodology of law.

Abstract: The article analyses a concept of action as a condition of criminal responsibility, as it is represented in 1960 essay *Acts of Will and Responsibility* by a British philosopher and jurist, H. Hart. The author's conceptualization of action in doctrine and judicial practice of a precedential (primarily British) legal system is considered. Methodological principles and techniques of Hart's study are explicated thus establishing its interpretation as an application of ideas of analytical linguistic philosophy to problems of criminal law.